

ГОВАРД ФИЛЛИПС

ЛАВКРАФТ



ЗОВ КЛУБ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Говард Лавкрафт

Зов Ктулху. Повести и рассказы

«АРДИС»

УДК 821.111-312.9
ББК 84(7Сое)6-449

Лавкрафт Г. Ф.

Зов Ктулху. Повести и рассказы / Г. Ф. Лавкрафт — «АРДИС»,

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Погрузитесь в мир, где грань между реальностью и кошмаром истончается до предела, а древние тайны пробуждают первобытный ужас. В этом аудиосборнике собраны знаковые произведения Г. Ф. Лавкрафта – мастера литературы ужасов, чьи истории десятилетиями будоражат воображение читателей. От мрачных глубин океана до забытых городов, от древних храмов до туманных улиц Иннсмута – каждое произведение ведёт вас всё глубже в мир, где человечество – лишь песчинка перед лицом древних и непостижимых сил. Вас ждут: леденящая кровь история «Зверь в пещере», зловещее откровение «Дагон», тайны «Безымянного города», мрачная легенда «Храм», культовый «Зов Ктулху», мистическая «Странный высокий дом в тумане», пугающая «Тень над Иннсмутом» и загадочный «Переход Хуана Ромеро». Зажгите лампу поярче, устройтесь поудобнее и приготовьтесь услышать шёпот древних богов – если осмелитесь.

УДК 821.111-312.9

ББК 84(7Сое)6-449

© Лавкрафт Г. Ф.

© АРДИС

Содержание

Зверь в пещере	6
Дагон	9
Безмянный город	13
Храм	21
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Говард Филлипс Лавкрафт

Зов Ктулху. Повести и рассказы

© Ардис, перевод, издание на русском языке

* * *

Зверь в пещере

Ужасный вывод, который мало-помалу навязывался моему смятённому и не желавшему верить разуму, теперь обрёл очертания страшной, неоспоримой реальности. Я заблудился – заблудился окончательно, без всякой надежды на спасение – в безбрежных, змеиных изгибах и лабиринтах **Мамонтовой пещеры**. Куда бы я ни обращал свой взгляд, полный тщетного напряжения, ни единый предмет в этом мраке не мог послужить ориентиром, способным указать путь к спасительному выходу. Мой разум более не допускал ни малейшего сомнения в том, что мне уже никогда не увидеть благословенного дневного света и вовеки не суждено взглянуть на приветливые холмы и долины прекрасного внешнего мира. Надежда угасла. И всё же, закалённый жизнью как философ, я находил немалое удовлетворение в своей бесстрастной выдержке: ведь, хотя мне нередко приходилось читать о диком исступлении, в которое впадали жертвы подобных обстоятельств, я не испытывал ничего подобного – и сохранял спокойствие, хоть и ясно осознавал, что утратил ориентиры.

И мысль о том, что я, вероятно, зашёл за самые крайние рубежи обычных туристических троп, не заставила меня ни на миг утратить самообладание. Если мне суждено умереть, – размышляя я, – то эта страшная, но величественная пещера станет могилой не хуже той, что может предложить любое кладбище; и такая перспектива приносила скорее мрачное умиротворение, чем отчаяние.

Смерть от голода будет моим конечным уделом – в этом я был уверен. Я знал: некоторые в подобных условиях сходили с ума, но чувствовал, что подобный финал меня не ожидает. Моё несчастье было следствием лишь моей собственной ошибки: гид ровным счетом ничего не заметил. Я отстал от основной группы туристов и, блуждая более часа по запретным для прогулок ответвлениям пещеры, обнаружил, что не в силах вспомнить маршрут и вернуться по тем извилистым ходам, которыми шёл после того, как покинул спутников.

Мой факел уже начал угасать; вскоре меня должна была поглотить абсолютная и почти осязаемая чернота земных недр. Стоя в слабом, дрожащем свете, я рассеянно раздумывал о точных обстоятельствах своей близкой смерти. Я воскрешал в памяти предания, слышанные мною о колонии чахоточных, что обосновались в этом исполинском гроте ради исцеления в благотворном, как мнилось, воздухе подземного царства – с его неизменной температурой, кристальной чистотой и вечным покоем, – но обретших вместо здравия смерть в причудливой и жуткой форме. Я видел печальные остатки их кое-как сколоченных лачуг, когда проходил мимо с экскурсией, и задавался вопросом, какое противоестественное воздействие окажет долгое пребывание в этой громадной, безмолвной пещере на человека столь же здорового и крепкого, как я. Теперь я мрачно сказал себе: мой черед познать это на собственном опыте настал – если только отсутствие пищи не уведёт меня из жизни слишком скоро.

Когда последние, судорожно мерцающие лучи моего факела растворились в темноте, я решил не оставлять неиспробованным ни одного средства, не пренебрегать ни малейшей возможностью спасения; и потому, собрав всю мощь, какой располагали мои лёгкие, я издал череду громогласных воплей – в тщетной надежде привлечь своим криком внимание гида. И всё же, крича, я в глубине души сознавал, что вопли мои тщетны и что мой голос, многократно усиленный и отражённый бесчисленными бастионами чёрного лабиринта вокруг, достигает лишь моих ушей. Но внезапно я вздрогнул, ибо мне почудилось, будто я слышу мягкие приближающиеся шаги по каменистой тверди пещеры. Неужели избавление столь близко? Неужели все мои кошмарные предчувствия были напрасны – и гид, обнаружив мое необъяснимое отсутствие, идёт по моим следам, разыскивая меня в этом известняковом лабиринте? Эти обнадёживающие вопросы вспыхнули в моем сознании, и я уже готов был возобновить крики, чтобы меня нашли скорее, как вдруг моя радость в одно мгновение обратилась в ужас:

я прислушался и понял. Ибо мой всегда чуткий слух, теперь ещё сильнее обострённый полной тишиной пещеры, донёс до моего оцепенелого понимания неожиданное и страшное знание: эти шаги не были шагами смертного человека. В нечеловеческой неподвижности этого подземного царства поступь гида в сапогах отозвалась бы серией резких, отчетливых ударов. Эти же звуки были вкрадчивыми и мягкими – словно от подбитых шерстью лап некоего кошачьего существа. К тому же порою, когда я прислушивался с особенным тщанием, мне чудилось, что я различаю ритм четырех конечностей вместо двух.

Я обрел уверенность в том, что своими призывами пробудил и привлек некое дикое создание – быть может, горного льва, волею случая забредшего в эти недра. Возможно, – подумал я, – Всевышний избрал для меня кончину более стремительную и милосердную, нежели голод. Но инстинкт самосохранения, никогда не засыпающий до конца, шевельнулся во мне; и хотя бегство от надвигающейся опасности могло лишь отсрочить фатальный исход ради ещё более сурового и медленного конца, я всё же решил: расстанусь с жизнью как можно дороже. Как ни странно, моё сознание не допускало со стороны незримого гостя иного намерения, кроме враждебного. Посему я застыл в неподвижности, уповая, что неведомый зверь – если направляющий звук более не повторится – собьется с пути, как сбился я, и проследует мимо. Но упованию сему не суждено было сбыться: чуждые шаги неуклонно приближались – животное, очевидно, учуяло мой запах, который в воздухе, столь абсолютно свободном от всяких примесей, как атмосфера пещеры, наверняка можно было выследить на огромном расстоянии.

Теперь мерное «топ-топ» звучало уже совсем близко; пугающе близко. Я различал тяжёлое дыхание твари и – сколь бы ни был я парализован страхом – понял, что она проделала долгий путь и посему смертельно утомлена. Внезапно оковы оцепенения пали. Правая моя рука, ведомая неизменно надежным слухом, со всей яростью метнула острый, зазубренный обломок известняка – туда, в пучину мрака, откуда исходило дыхание и это вкрадчивое шарканье; и – что поистине изумительно – камень почти достиг цели, ибо я услышал, как существо отпрянуло и приземлилось в стороне, словно бы в замешательстве застыв.

Поправив прицел, я запустил второй камень – и на этот раз с величайшей удачей: с приливом ликования я слушал, как тварь рухнула так, будто обессилела целиком, и, судя по всему, осталась лежать неподвижно. Почти раздавленный тем огромным облегчением, которое захлестнуло меня, я пошатнулся и оперся о стену. Дыхание возобновилось – тяжёлые, судорожные вдохи и выдохи, – и я понял, что всего лишь ранил зверя.

И теперь всякое желание выяснить, кто это, исчезло. Наконец в мой мозг проникло нечто сродни беспричинному, суеверному страху; и я не осмелился приблизиться к телу и добить его камнями, чтобы окончательно погасить его жизнь. Вместо этого я устремился прочь со всех ног – в том направлении, которое, насколько я мог судить в своем исступленном состоянии, было путем, которым я пришел.

Внезапно до моих ушей долетел звук – вернее, ровная, регулярная череда звуков. Ещё миг – и они сложились в ряд резких металлических щелчков. Тут уже сомнений быть не могло: это был проводник. И тогда я закричал – закричал, завопил, заорал, едва ли не завизжал от радости, когда увидел на сводах над собой слабое, мерцающее сияние, в котором узнал отражённый свет приближающегося факела. Я ринулся навстречу этому огню – и прежде чем успел до конца понять, что произошло, уже лежал на земле у ног гида, обнимал его сапоги и, вопреки всем своим похвальбам о выдержке, нёс бессвязный и идиотский бред, выплёскивая свой кошмарный рассказ и одновременно осыпая спасителя благодарностями.

Наконец я пришёл в состояние, хоть сколько-нибудь похожее подобающее норме. Проводник заметил моё отсутствие, когда группа вернулась к зеву пещеру, и – полагаясь на своё интуитивное чувство направления – принялся тщательно прочёсывать боковые ответвления неподалёку от того места, где он говорил со мной в последний раз. Он отыскал меня после поисков, длившихся около четырех часов.

Когда он рассказал мне это, я, приободренный его факелом и его присутствием, начал размышлять о загадочном звере, которого ранил всего в нескольких шагах отсюда во тьме, и предложил нам, при свете лучины, разузнать, что за создание стало моей жертвой. Мы пошли обратно; и я, теперь уже с храбростью, порожденной товариществом, возвратился к месту своего страшного переживания. Вскоре мы различили на полу белый предмет – предмет блее даже, чем сам мерцающий известняк. Осторожно приблизившись, мы в едином порыве воскликнули от изумления: ибо из всех противоестественных монстров, каких кто-либо из нас видел в жизни, этот был – в наивысшей степени – самым непостижимым. Он представлялся человекоподобной обезьяной великих размеров, сбежавшей, быть может, из какого-нибудь бродячего зверинца.

Его шерсть была снежно-белой – несомненно, вследствие отбеливающего действия долгого пребывания в чернильных недрах пещеры; но при этом она оказалась поразительно скудной: в самом деле, почти отсутствовала везде, кроме головы, где была столь длинной и обильной, что густыми прядями спадала на плечи. Лицо было отвёрнуто от нас, ибо существо лежало ничком. Положение конечностей в высшей степени причудливым – впрочем, именно оно объясняло чередование способов передвижения, которое я отмечал ранее: зверь то прибегал к помощи всех четырех конечностей, то – лишь двух. Из кончиков пальцев рук или ног тянулись длинные, подобные когтям ногти. Ни руки, ни ноги не были хватательными – обстоятельство, которое я приписал длительному пребыванию в пещере, о котором, как я уже упоминал, свидетельствовала всепроникающая и почти неземная *белизна*, столь характерная для всего его тела. Хвоста, по-видимому, не было.

Дыхание теперь стало совсем слабым, и гид уже извлек пистолет с явным намерением прикончить существо, как вдруг внезапный **звук**, испущенный им, заставил опустить оружие, так и не выстрелив. Этот звук трудно описать. Он не походил на обычный крик ни одного из известных видов приматов, и я задался вопросом: не является ли эта противоестественность следствием долгого, непрерывного и абсолютного безмолвия, нарушенного явлением света – вещи, которую зверь не мог видеть с тех пор, как впервые проник в пещеру. Звук, который я с трудом мог бы уподобить некоему низкотоновному стрекотанию, продолжался приглушённо. Внезапно по телу зверя, казалось, пробежала мимолетная судорожная волна энергии. Лапы совершили конвульсивное движение, конечности сократились. Рывком белое тело перекачилось так, что лицо оказалось обращено к нам.

На мгновение я был столь глубоко поражён ужасом от открывшихся глаз, что не отметил ничего больше. Они были чёрными, эти глаза – бездонными, смоляно-чёрными, в отвратительном контрасте со снежной белизной волос и плоти. Как у иных обитателей пещер, они были глубоко утоплены в орбитах и совершенно лишены радужной оболочки. Когда я всмотрелся пристальнее, я увидел, что они поставлены в лице менее выпуклом, нежели у заурядной обезьяны, и бесконечно более волосатом. Нос был вполне различим.

Пока мы созерцали это жуткое зрелище, тяжелые губы разомкнулись, и из них вырвалось несколько звуков, после чего существо обмякло, умерев. Гид вцепился в мой рукав и задрожал столь неистово, что свет факела заплясал, отбрасывая по стенам вокруг нас причудливые, движущиеся тени.

Я замер в оцепенении, мои потрясённые глаза были прикованы к полу. Затем страх ушёл, и на его место пришли изумление, благоговение, сострадание и трепет – потому что звуки, произнесённые фигурой, распостёртой на известняке, открыли нам леденящую кровь истину. Существо, которое я убил, странный зверь непостижимой пещеры, был – по крайней мере когда-то – **ЧЕЛОВЕКОМ!!!**

Дагон

Я пишу эти строки, пребывая в крайнем напряжении рассудка, ибо этой ночью меня не станет. Оставшись без гроша и с истощающимся запасом того снадобья, что одно лишь делает жизнь сносной, я более не в силах выносить эту пытку – и вскоре выброшусь из окна этого чердака на грязную мостовую. Не стоит, однако, судить о моей зависимости от морфия как о признаке душевной слабости или вырождения. Когда вы прочтете эти наспех начертанные страницы, вы, быть может, догадаетесь – хоть вам и не дано будет в полной мере постичь, – почему мне не остается ничего, кроме забытья или смерти.

Это случилось в одной из самых пустынных и малоизученных частей Тихого океана, когда пакетбот, на котором я нес службу в качестве суперкарго, пал жертвой германского морского рейдера. Великая война тогда лишь начиналась, и тевтонская свирепость ещё не достигла своих позднейших пределов; а потому наше судно сочли законным трофеем, а с нами, его командой, обошлись со всей учтивостью и вниманием, которые подобают военнопленным морякам. Дисциплина захватчиков была столь мягкой, что уже на пятый день плена мне удалось бежать в одиночку на малой шлюпке, запасшись водой и провизией на изрядный срок.

Когда же я, наконец, обрел свободу, я обнаружил, что совершенно не представляю, где нахожусь. Не будучи искусным навигатором, я мог лишь смутно предполагать по солнцу и звездам, что нахожусь несколько южнее экватора. О долготе я не имел ни малейшего понятия; ни единого острова, ни полоски берега не было видно. Стояла ясная погода, и бесчисленные дни я бесцельно носился по волнам под палящим зноем, уповая лишь на встречное судно или на то, что меня вынесет к берегам какой-нибудь обитаемой земли. Но океан оставался пуст, и в этом одиночестве над вздымающейся громадой безбрежной синевы мною стало овладевать отчаяние.

Перемена произошла во сне. Подробности её навсегда останутся для меня тайной, ибо мой сон, хотя и преисполненный тягостных видений, был глубоким и непрерывным. Когда же я пробудился, то обнаружил, что наполовину погружен в вязкую равнину адской черной слизи, которая простиралась вокруг однообразными волнами, насколько хватало глаз; моя лодка же лежала на мели неподалеку.

Логично было бы предположить, что первым моим чувством станет изумление столь внезапной и колоссальной смене пейзажа, но на деле я был скорее в ужасе, нежели поражен: в самом воздухе и в этой гниющей почве таилось нечто зловещее, пробиравшее меня до мозга костей. Местность была пропитана трупным духом разлагающейся рыбы и иных, менее поддающихся описанию вещей, чьи останки торчали из мерзкой жижи бесконечной равнины. Пожалуй, мне не следует и надеяться передать словами ту невыразимую омерзительность, что может таиться в абсолютной тишине и пустынном безмолвии. Не было слышно ни звука – и не было видно ничего, кроме необозримого пространства черной тины; сама завершенность этого неподвижного и монотонного ландшафта давила на меня удушливым страхом.

Солнце палило с небес, которые казались мне почти черными в своей безоблачной жестокости – словно отражая чернильную трясину у меня под ногами. Забравшись в севшую на грунт лодку, я понял, что мое положение может быть объяснено лишь одной теорией. Вследствие некоего беспримерного вулканического поднятия часть океанского дна взметнулась на поверхность, обнажив области, которые миллионы лет скрывались под неизмеримой толщей вод. Громада поднявшейся подо мной суши была столь велика, что я не слышал даже самого слабого рокота прибоя, как ни напрягал слух. Не было в небе и морских птиц, готовых пожить мертвечиной.

Несколько часов я сидел, предаваясь мрачным раздумьям, в лодке, которая лежала на боку и давала лишь узкую полоску тени, пока солнце двигалось по небосводу. По мере того

как день угасал, почва теряла часть своей липкости и, казалось, вскоре могла просохнуть настолько, чтобы по ней можно было идти. Ночью я почти не спал, а на следующий день собрал себе узел с пищей и водой, готовясь к сухопутному переходу в поисках исчезнувшего моря и возможного спасения.

На третье утро земля высохла достаточно, чтобы по ней можно было идти без труда. Рыбное зловоние сводило с ума; но я был поглощен куда более серьезными опасениями, чтобы обращать внимание на подобную мелочь, и решительно двинулся к неизвестной цели. Весь день я упорно шел на запад, ориентируясь на далекий холм, что возвышался над остальной волнистой пустыней. Ночью я расположился на отдых, а на следующий день продолжал путь к холму, хотя он, казалось, был едва ли ближе, чем в тот миг, когда я впервые его заметил. К вечеру четвертого дня я достиг подножия возвышенности – она оказалась гораздо выше, чем виделось издали, а глубокая долина резко отделяла её от общей поверхности. Изнурённый до предела, я лег спать в тени холма.

Не знаю, почему мои сны в ту ночь были столь дики, но прежде чем ущербная и причудливо выгнутая луна поднялась высоко над восточной равниной, я очнулся в холодном поту, полный решимости более не смыкать глаз. Те видения, что я пережил, были слишком невыносимы, чтобы терпеть их снова. При лунном свете я осознал, как неразумно было путешествовать днём. Без слепящего жара иссушающего солнца мой путь потребовал бы меньше сил; и в самом деле – теперь я чувствовал, что вполне способен совершить подъём, от которого меня удержал закат. Подхватив узел, я направился к вершине.

Я уже говорил, что монотонная однообразность волнистой равнины внушала мне смутный ужас; но, думаю, мой страх стал еще глубже, когда я достиг вершины и увидел по другую сторону неизмеримую пропасть – каньон, в чьи черные ниши луна, еще не взошедшая достаточно высоко, не проникала светом. Мне почудилось, будто я стою на краю мира, заглядывая через обод в бездонный хаос вечной ночи. Сквозь страх пробивались странные воспоминания о «Потерянном рае» и о чудовищном восхождении Сатаны сквозь несотворенные царства тьмы.

Когда луна поднялась выше, я увидел, что склоны долины не столь отвесны, как мне показалось сначала. Каменные ребра и выступы давали вполне удобную опору для ног; а после спуска на несколько сот футов уклон становился очень пологим. Ведомый импульсом, который я не в силах точно объяснить, я с трудом спустился по скалам и остановился на более мягком склоне внизу, всматриваясь в стигийские глубины, куда еще не проникал свет.

Внезапно мое внимание привлек некий исполинский и диковинный объект на противоположном склоне, который круто вздымался в сотне ярдов предо мною; предмет этот мерцал белизною в новообретенных лучах восходящей луны. Вскоре я убедил себя, что это всего лишь колоссальная каменная глыба; однако в то же время я явственно ощущал: ее очертания и положение не были всецело делом рук Природы. Более пристальный взгляд наполнил меня чувствами, выразить которые я не в силах: ибо, невзирая на чудовищные размеры и на то, что вещь эта покоилась в бездне, зиявшей на дне моря с тех самых пор, когда мир был юн, я вне всяких сомнений осознал – этот странный объект был искусно изваянным монолитом, чья массивная громада хранила следы трудов, а быть может, и поклонения живых и мыслящих существ.

Ошеломленный и объятый страхом, но не лишенный того трепета, что ведом ученому или археологу при великом открытии, я более внимательно осмотрел окрестности. Луна, достигшая почти самого зенита, лила странный и яркий свет над высоченными кручами, окаймлявшими ущелье, и открыла моему взору тот факт, что по дну текла широкая лента воды, исчезавшая из виду в обе стороны и почти омывавшая мои стопы там, где я стоял на склоне. По ту сторону пропасти водная рябь плескалась у основания циклопического монолита, на чьей поверхности я теперь мог различить и надписи, и грубые изображения.

Письмена эти представляли собой систему иероглифов, мне неведомую и не похожую ни на что из виденного мною в книгах; они состояли по большей части из условных водных

символов – рыб, угрей, осьминогов, ракообразных, моллюсков, китов и им подобных. Некоторые знаки, по всей видимости, изображали морских обитателей, неизвестных современному миру, но чьи разлагающиеся формы я прежде наблюдал на равнине, устланной поднятым со дна океана илом.

Однако сильнее всего приковывали мой взор резные барельефы. В силу своего неимоверного размера они были отчетливо видны через разделявшую нас ширь воды; и сюжеты их могли бы вызвать зависть у самого Доре. Думаю, изваяния эти должны были изображать людей – по меньшей мере, некое подобие человеческого рода; хотя существа на барельефах были показаны резвящимися, подобно рыбам, в водах какого-то морского грота или воздающими почести у монолитного святилища, которое, судя по всему, также находилось под волнами.

О ликах и телах этих созданий я не смею говорить подробно, ибо от одного лишь воспоминания мне становится дурно. Гротескные за пределами фантазии По или Бульвера, они все же были пугающе человекоподобны в своем общем силуэте – невзирая на перепончатые руки и ноги, ужасающе широкие, дряблые губы, стеклянные выпученные глаза и прочие черты, кои мне противно воскрешать в памяти. Любопытно, что они были высечены в неверной пропорции относительно окружающего фона: одно из существ изображалось убивающим кита, который был показан лишь ненамного больше его самого. Я отметил, как уже было сказано, их гротескность и причудливые размеры, но вскоре решил, что это всего лишь вымышленные божества некоего примитивного племени рыбаков или мореходов – племени, чей последний отпрыск сгинул за целые эпохи до рождения первого предка пилтдаунского или неандертальского человека.

Потрясенный этим внезапным взором в прошлое, лежащее за гранью самых дерзких антропологических гипотез, я стоял, погруженный в раздумья, пока луна бросала причудливые отблески на безмолвный канал предо мною. И тут я внезапно узрел это. Лишь легкое бурление ознаменовало подъем к поверхности, а мгновение спустя оно выскользнуло в поле зрения над темной водой. исполинское, подобно Полифему, и омерзительное, оно метнулось к монолиту, словно чудовищный порожденный кошмаром колосс, и обвило его своими громадными чешуйчатыми лапами; при этом оно склонило свою отвратительную голову и издало несколько размеренных звуков. Полагаю, именно тогда я и лишился рассудка.

О моем отчаянном восхождении по склону и утесу, о моем безумном пути обратно к севшей на мель лодке я помню лишь обрывки. Мнится мне, я долго пел – и странно смеялся, когда уже не был способен петь. Смутно припоминаю, как позже, когда я уже добрался до лодки, разразился неистовый шторм; во всяком случае, я знаю, что слышал раскаты грома и иные звуки, которые Природа рождает лишь в самых необузданных своих порывах.

Когда я вышел из тени забвения, я обнаружил себя в госпитале Сан-Франциско – меня доставил туда капитан американского судна, подобравшего мою шлюпку в открытом океане. В бреду я говорил много, но вскоре уразумел, что словам моим не придали значения. О каком-либо поднятии дна в Тихом океане мои спасители ничего не знали; да и я не считал нужным настаивать на том, в чем был уверен: они все равно не поверили бы мне. Однажды я разыскал прославленного этнолога и озадачил его странными расспросами о древнем филистимлянском предании о Дагоне – Боге-Рыбе; но, быстро убедившись, что ум его безнадежно зауряден, я не стал продолжать беседу.

По ночам – в особенности когда луна полна и ущербна – я вижу это. Я пытался искать спасения в морфии; но он дарил лишь краткое забвение и вскоре вонзил в меня свои когти, сделав своим безнадежным рабом. Посему теперь я покончу со всем, изложив сей полный отчет – для сведения или же презрительного развлечения моих собратьев по роду человеческого.

Я часто вопрошаю себя: не было ли все это сущей иллюзией – лишь бредовой игрой воображения в горячке, когда я лежал, опаленный солнцем и охваченный лихорадкой, в открытой шлюпке после побега с германского рейдера. Я задаю себе этот вопрос, но всякий раз передо

мною встает то видение с ужасающей, неоспоримой ясностью. Я не могу помыслить о морских безднах без содрогания, представляя безымянных тварей, которые, быть может, уже в сей миг копошатся и барахтаются на его склизком дне, поклоняясь своим древним каменным идолам и ваяя собственные омерзительные подобиya на подводных обелисках из пропитанного влагой гранита.

Мне грезится день, когда они восстанут над волнами, дабы увлечь в своих зловонных когтях остатки ничтожного, изнуренного войнами человечества; день, когда суша скроется в пучине, а темное дно океана вознесется к свету среди всеобщего панического безумия.

Конец близок. Я слышу шум у двери – словно некое массивное, осклизлое тело грузно наваливается на нее. Оно не найдет меня живым. Боже, эта рука! Окно! Окно!

Безымянный город

Когда я приблизился к Безымянному городу, я уже доподлинно знал: это место проклято. Я продвигался сквозь иссушённую, исполненную ужаса долину в призрачном свете луны и издали увидел, как он неестественно выпирает над песками – подобно тому, как из небрежно зарытой могилы торчат части разлагающегося трупа. Леденящий страх вещал из древних, изъеденных временем камней этого седого пережитка потопа, этой праматери старейших пирамид; и некая незримая аура отталкивала меня, повелевая отступить от зловещих тайн дочеловеческой эры, которых смертному не должно видеть – и которых никто из людей прежде не дерзал коснуться взглядом.

Где-то в безлюдных пустынях Аравии сокрыт этот Безымянный город – крошащийся, безмолвный; его приземистые стены почти погребены под песками несчётных веков. Он пребывал в этом запустении, должно быть, ещё до того, как были заложены первые камни Мемфиса и пока кирпичи Вавилона ещё не познали жара печи. Не существует легенды столь древней, что могла бы назвать его имя или воскресить память о временах, когда он был средоточием жизни. О нём лишь шепчутся в суеверном страхе у ночных костров и бормочут старые женщины в шатрах шейхов – так, что все племена избегают его, не ведая истинных причин своего содрогания. Именно об этом месте безумный поэт Абдул Альхазред грезил в ночь, перед тем, как пропел своё необъяснимое и пугающее двустишие:

*«Не мёртво то, что вечно пребывает,
В черёд чужих эпох и смерть умирает».*

Мне надлежало бы осознать, что у арабов имеются веские основания страшиться Безымянного города – места, о коем сложены жуткие сказания, но которого не зрел ни один ныне живущий. Но я дерзнул бросить вызов их страхам и отправился в нетронутую пустошь вместе со своим верблюдом. Ныне я – единственный, чьи глаза видели его; и посему ни на одном лице не сыскать столь отвратительных морщин ужаса, как на моём; посему ни один человек не вздрагивает так мучительно, когда ночной ветер неистово гремит оконными рамами. Когда я наткнулся на него, замершему в мертвенном безмолвии бесконечного сна, он воззрился на меня – бледный и холодный в лучах безучастной луны посреди душливого пустынного зноя. И, встретив его взгляд, я мгновенно отринул гордыню первооткрывателя и замер подле своего верного верблюда, в оцепенении дожидаясь рассвета.

Долгие часы я пребывал в ожидании, пока восток не подернулся серым маревом и звёзды не начали блекнуть; пока эта серость не обратилась розовым светом с золотым обрамлением. В тот миг я услышал приглушённый стон и увидел, как среди древних камней вздымается песчаная буря – хотя небо над головой оставалось кристально чистым, а пустыня вокруг пребывала в неподвижности и безмолвии. Внезапно над горизонтом, над песками показался пылающий диск солнца – сквозь пелену крохотного, уже утихавшего вихря; и в приступе горячего возбуждения мне почудилось, будто из неведомых глубин донёсся звонкий удар поющего металла, приветствующий светило, подобно тому, как Мемнон приветствует его на берегах Нила. У меня звенело в ушах, воспалённое воображение кипело, и я медленно повёл верблюда по зыбучим пескам к этому лишённому голоса каменному чертогу – месту столь ветхому, что даже Египет и Мероэ не смогли бы сохранить память о нём; месту, которое я – единственный из сынов человеческих – узрел воочию.

Среди бесформенных оснований жилищ и дворцов я блуждал тут и там, не находя ни единой резьбы, ни одной надписи, способной поведать о тех существах – если только они были людьми, – кто воздвиг сей город и обитал в нём в те невообразимо далёкие времена. Древ-

ность этого места казалась болезненной и противоестественной; я жаждал наткнуться хотя бы на малейший символ, способный доказать, что город был сотворен рукою смертного. Ибо в руинах угадывались пропорции и масштабы, внушавшие мне необъяснимую неприязнь. Имея при себе инструменты, я прилежно копал в стенах истёртых построек; однако труд мой продвигался медленно, и ни одна существенная тайна не открывалась мне. Когда же вновь воцарились ночь и луна, поднялся ледяной ветер, и страх мой усилился до такой степени, что я не посмел остаться в пределах города. И, покидая древние стены в поисках ночлега, я заметил за спиной безмолвную, подобную вздоху песчаную бурю: она клубилась над серыми камнями, хотя луна сияла безмятежно, а пустыня вокруг была почти недвижима.

Я пробудился на самом рассвете, терзаемый шествием чудовищных сновидений; в моих ушах всё ещё стоял звон, подобный металлическому перезвону. Солнце багровым оком взирало сквозь последние порывы призрачной песчаной бури, что застыла над Безымянным городом, в то время как весь остальной пейзаж пребывал в неподвижности и безмолвии. Вновь я преисполнился решимости вступить в эти хмурые руины, вздымающиеся под саваном песка, точно людоед под одеялом, – и вновь тщетно предавался раскопкам в поисках реликвий канувшего в лету племени. В полдень я предал тело отдыху; пополудни же долго обходил крепостные стены, древние улицы и едва различимые контуры почти исчезнувших зданий. Я осознал: город этот воистину был могуч, и в изумлении спрашивал себя об источниках его бывшего величия. В своём воображении я рисовал блеск эпохи столь баснословно далёкой, что даже Халдея не смогла бы её припомнить; думы мои возвращались к року, постигнутому Саранат, что стоял в стране Мнар, когда человечество было ещё юным, и к Ибу, высеченному из серого камня ещё до того, как само человечество возникло на лице земли.

И тут я наткнулся на место, где коренная порода резко выступала из песка, образуя невысокий обрыв; и здесь, к моей радости, я увидел то, что обещало новые следы допотопного народа. Прямо в скальном лике были грубо выбиты несомненные фасады нескольких малых, приземистых, вырубленных в камне храмов или гробниц; их внутренности, возможно, хранили тайны времён, слишком отдалённых для всякого исчисления, хотя песчаные бури давно стёрли любую внешнюю резьбу, если она там была.

Все тёмные отверстия подле меня оказались крайне низкими и забитыми наносным песком; но одно из них я расчистил лопатой и, вооружившись факелом, пролез внутрь, чтобы пролить свет на возможные тайны. Оказавшись внутри, я убедился: пещера и правда была храмом, и в ней явственно проступали следы расы, обитавшей и творившей здесь обряды ещё до того, как пустыня стала пустыней. Примитивные алтари, столпы и ниши – все странно и пугающе низкие – присутствовали; и хотя я не обнаружил ни изваяний, ни фресок, там было множество причудливых камней, явно обработанных рукою и сложенных в таинственные символы. Низость высеченного свода поражала воображение: я едва мог выпрямиться даже на коленях; при этом зал был столь обширен, что пламя факела высвечивало лишь малую часть пространства. В некоторых дальних углах меня охватывала необъяснимая дрожь: отдельные алтари и камни намекали на забытые ритуалы – страшные, отвратительные и не поддающиеся описанию – и заставляли гадать, что за существа могли воздвигнуть и посещать подобный храм. Осмотрев всё, что было доступно взору, я выбрался наружу, снедаемый жаждой того, что могут открыть остальные святилища.

Ночь уже была близка, но всё увиденное лишь подогрело моё любопытство, оказавшееся сильнее страха, и я более не бежал от длинных лунных теней, что столь напугали меня при первом знакомстве с Безымянным городом. В сумерках я расчистил ещё одно отверстие и, вооружившись новым факелом, пролез внутрь: там обнаружились такие же туманные камни и символы – ничего более определённого, чем в первом святилище. Потолок был столь же низок, но сам зал – намного уже; он заканчивался тесным проходом, заставленным смутными и загадочными капищами. Я как раз исследовал сии капища, когда тишину пронзил шум ветра

и беспокойство моего верблюда снаружи – и я поспешил выбраться, дабы понять, что могло напугать животное...

Луна лила бледный, мертвенный свет на первобытные руины, выхватывая из мрака плотное облако песка; казалось, его гнал порыв яростного, но уже истаивающего ветра, доносившийся откуда-то из-за выступов утёса. Я мгновенно осознал: именно этот ледяной, пронзительный вихрь встревожил моего верблюда, и уже вознамерился увести животное под более надёжное укрытие, как вдруг, возведя взор к небу, оцепенел: там, на самой кромке утёса ветра не было вовсе. Это необъяснимое обстоятельство поразило меня до глубины души, вновь пробудив в сердце леденящие искры страха; однако я тотчас вспомнил о внезапных местных шквалах, которые мне доводилось наблюдать в часы рассвета и заката, и поспешил счесть это явление вполне естественным. Я заключил, что невидимый поток вырывается из некоей глубокой трещины в скале, сообщающейся с пещерной системой, и стал следить за танцем взметённого песка, чтобы отыскать его источник.

Вскоре я заметил: песчаный поток с неистовством исторгается из чёрного зева храма, расположенного далеко к югу – почти на самой границе моего зрения. Сквозь удушливую завесу пыли я побрёл к этому святилищу; по мере приближения оно открывалось взору более величественным, нежели прочие, а его дверной проём оказался куда меньше забит наносами слежавшегося песка. Я бы дерзнул переступить порог незамедлительно, если бы не чудовищная мощь ледяного ветра, едва не погасившего мой факел. Поток бешено рвался из тёмных недр, издавая жуткие, похожие на человеческие вздохи звуки, взъерошивая песок и с неистовой злобой разметая его по причудливым руинам Безымянного города. Затем порыв начал слабеть, песок постепенно оседал, пока, наконец, всё вокруг не погрузилось в абсолютное безмолвие. Однако мне чудилось, будто среди призрачных камней скользит некая бесплотная тень, и когда я взглянул на луну, мне почудилось, что она дрожит и колыхается, точно отражение в потревоженной, мутной воде. Страх мой был глубже, чем я мог бы выразить словами, но жажда непостижимых чудес оказалась сильнее; и как только ветер окончательно стих, я пересёк порог этого мрачного зала.

Этот храм, как я и предполагал, ещё находясь снаружи, превосходил размерами те два святилища, где я уже успел побывать; и, по всей вероятности, он представлял собой естественную каверну – коль скоро служил проводником для ветров, рвущихся из неких сокрытых далее областей. Здесь я наконец смог выпрямиться во весь рост, однако жертвенные камни и алтари здесь столь же неестественно приземисты, как и в прочих капищах. На стенах и сводах я впервые сумел различить туманные следы изобразительного искусства древней расы – причудливые, выющиеся полосы краски, ныне почти выцветшие и осыпавшиеся прахом; а на двух алтарях, к моему стремительно нарастающему возбуждению, я узрел лабиринт искусно высеченных, порочных в своей сложности криволинейных орнаментов. Когда я поднял факел выше, мне почудилось, что сама форма свода слишком правильна для природного творения: я невольно задался вопросом, над чем именно трудились допотопные каменотёсы в самом начале времён. Их инженерное мастерство, должно быть, было поистине великим.

И тут внезапная, более яркая вспышка факельного пламени выхватила из мрака то, что я столь жадно искал: вход в те невообразимые бездны, откуда и рождался неистовый ветер. Я едва не лишился чувств, осознав, что передо мной – маленькая, явно искусственная дверь, высеченная в толще монолитной скалы. Я просунул туда факел и различил зев чёрного туннеля: его свод низко нависал над грубой лестницей из очень мелких, пугающе частых и круто нисходящих ступеней. Эти ступени я буду видеть во снах вечно – ибо позже мне открылось их истинное, богомерзкое значение. Тогда же я и сам не мог решить, подобает ли назвать их ступенями или же просто вырубленными упорами для ног на отвесном, самоубийственном спуске. В голове вихрем носились безумные мысли, и предостерегающие крики арабских пророков, казалось, плыли через пустыню – из земель, ведомых людям, к порогу Безымянного города,

о котором людям знать не должно. Но я недолго колебался, прежде чем шагнуть в проём и начать осторожное нисхождение по крутому ходу, ощупывая каждую ступень ногой, – подобно тому, как спускаются по трапу.

Лишь в самых жутких видениях, рождённых дурманом или горячечным бредом, человек мог бы испытать подобный спуск. Узкий проход уходил вглубь, точно некий мерзкий, населённый призраками колодец, а факел, который я удерживал над головой, был не в силах пронзить ту неизвестную глубину, в которую я медленно вползал. Я утратил счёт часам и забыл взглянуть на часы – хотя меня до глубины души ужасала мысль о том колоссальном расстоянии, которое я, должно быть, уже преодолел. Путь прерывался поворотами и резкими переменами уклона; однажды я оказался в длинном, низком и горизонтальном лазе, где мне пришлось извиваться на животе, продвигаясь вперёд ногами и удерживая факел на вытянутой руке над самой головой. Здесь высоты не хватало даже для того, чтобы встать на колени. Затем вновь начались крутые ступени, и я продолжал карабкаться вниз – бесконечно, до того самого мига, когда мой слабеющий факел с шипением погас. Должно быть, я не сразу осознал это: когда же тьма стала полной, я всё ещё продолжал удерживать его высоко над собой, словно он продолжал гореть. Меня окончательно затопило то стремление к запредельному и неизведанному, что сделало меня скитальцем по лицу земли и искателем самых дальних, древних и запретных мест.

В крошечной тьме перед моим внутренним взором вспыхивали фрагменты из сокровищницы моих демонических познаний: фразы безумного араба Альхазреда, абзацы из апокрифических кошмаров Дамаския, бесславные строки из бредового «Образа мира» Готье де Меца. Я нараспев твердил причудливые отрывки, бормоча об Афрасиабе и демонах, плывших с ним по водам Окса; и вновь и вновь, точно заклинание, повторял фразу из одной сказки лорда Дансени: «безотзвучная чёрная тьма бездны». Однажды, когда спуск стал поразительно, почти отвесно крутым, я принялся вслух читать Томаса Мура – пока сам не испугался звуков собственного голоса:

*«Бездонный погреб тьмы – черней, чем ведьмин чан,
когда в нем варят луны осколки, в мареве теней,
что дистиллят затмений дарят... Направь свой взор и посмотри:
нога ль пройдёт сквозь ту расселину внизу, что я увидел,
насколько зрение моё смогло туда проникнуть – за чёрные
покровы,
что гладки, как стекло, как будто свежим лаком их покрыли —
густым смолистым мраком,
что Море Смерти выбрасывает на слизистый свой берег».*

Само время совсем перестало существовать в тот миг, когда мои стопы вновь коснулись ровного пола, и я осознал, что нахожусь в чертоге чуть более высоком, чем залы тех двух меньших храмов, что ныне остались неизмеримо далёкими над моей головой. Встать в полный рост я всё ещё не мог, но мог выпрямиться на коленях; и в этой абсолютной черноте я принялся шаркать и ползать из стороны в сторону, двигаясь наугад. Вскоре я понял, что нахожусь в узком коридоре, вдоль стен которого были расставлены деревянные шкафы с застеклёнными фасадами. В этом палеозойском, бездонном месте, касаясь кончиками пальцев полированного дерева и холодного стекла, я содрогнулся от тех выводов, что напрашивались сами собой. Шкафы эти, казалось, тянулись по обе стороны коридора через равные промежутки; они были продолговатыми и горизонтальными – по своей форме и размеру они с отвратительной точностью напоминали гробы. Когда я попытался сдвинуть два или три из них, дабы осмотреть их, оказалось, что они намертво закреплены в камне.

Я осознал, что коридор сей бесконечно длинен, и потому устремился вперёд, быстро «бежа» на брюхе – змеиным движением, которое выглядело бы воистину ужасающе, узри его кто-нибудь в этой вечной черноте. Изредка я пересекал пространство от стены к стене, дабы ощупью убедиться, что каменные преграды и ряды шкафов всё ещё тянутся вдаль. Человеческий разум столь привык оперировать зримыми образами, что я почти позабыл о тьме и рисовал в воображении этот нескончаемый туннель из дерева и стекла в его удушающей, низкой монотонности так, словно воочию видел его. И тут – в миг неопишемого, потрясающего основы рассудка потрясения – я действительно увидел.

Не берусь утверждать, в какой именно момент призрачная фантазия незаметно переросла в истинное зрение; впереди затеплился слабый, вкрадчивый отблеск, и внезапно я понял, что различаю смутные очертания галереи и шкафов, высвечиваемые неким неведомым, подземным фосфоресцирующим сиянием. Некоторое время всё представляло именно таким, как я воображал: свет был крайне немощен. Но по мере того, как я механически спотыкался, приближаясь к источнику более яркого свечения, я осознал: все мои прежние представления были жалкими и бледными. Сей зал не был грубым и примитивным пережитком, подобным храмам на поверхности, – он являл собой триумф самого великолепного, изысканного и экзотического искусства. Богатые, яркие и дерзко фантастические узоры вкупе с картинами составляли непрерывную систему настенной росписи, чьи линии и цвета не поддаются никакому человеческому описанию. Шкафы были сработаны из диковинного золотистого дерева, их фасады – из изумительного, прозрачного стекла, а внутри покоились мумифицированные тела существ, чья гротескность превосходила самые хаотические и безумные сны человечества.

Передать хотя бы тень представления об этих чудовищах невозможно. Они напоминали рептилий; в очертаниях их тел было что-то от крокодила, порою от тюленя, но в целом они не походили ни на что из того, что когда-либо видел натуралист или палеонтолог. По своим размерам они были сопоставимы с невысоким человеком; их передние конечности заканчивались тонкими, очевидно, гибкими лапами, странно напоминавшими человеческие руки с длинными пальцами. Но всего более поражали их головы, чья форма попирала все известные биологические законы. Их нельзя было сравнить ни с чем земным: в одно мгновение мне на ум приходили подобию столь несхожие, как кошка, бульдог, мифический сатир и сам человек. Даже у Юпитера не нашлось бы столь гигантского, выпирающего лба; однако рога, полное отсутствие носа и челюсть аллигатора выводили этих тварей за пределы любых устоявшихся категорий. Некоторое время я пребывал в сомнениях относительно реальности этих мумий, подозревая в них искусственно созданных идолов, но вскоре пришёл к выводу, что передо мной воистину какой-то вид из палеозоя, процветавший в те времена, когда Безымянный город был полон жизни. В довершение гротеска большинство существ было роскошно облачено в самые дорогие ткани и щедро украшено золотом, драгоценностями и сиянием неведомых металлов.

Значение этих ползучих тварей в местной иерархии должно было быть колоссальным: в диких изображениях на стенах и сводах им отводилось главенствующее место. С непревзойдённым мастерством древний художник запечатлел их в их собственном мире, где раскинулись города и сады, соразмерные их низким телам; и я невольно помыслил, что эта нарисованная история – лишь аллегория, призванная явить путь той расы, которая им поклонялась. Эти создания, убеждал я себя, были для обитателей Безымянного города тем же, чем была капитолийская волчица для Рима или тотемный зверь – для индейского племени.

Удерживая в уме эту догадку, я, казалось, смог в общих чертах прочесть удивительный эпос Безымянного города: повесть о могучей прибрежной метрополии, державной владычице морей, правившей миром ещё до того, как чёрная Африка поднялась из седых волн; историю её борьбы в те времена, когда море начало отступать, а пустыня – неумолимо ползти в плодородную долину, где высились городские стены. Я видел войны и триумфы, великие бедствия и горечь поражений, а затем – страшную схватку с песками, когда тысячи жителей (здесь, разу-

меется, аллегорически представленные в виде гротескных рептилий) были вынуждены каким-то чудесным способом прорубать себе путь вниз, сквозь толщу скал – в иной мир, о котором им вещали пророки. Всё это выглядело невероятным, но обладало поразительной вещественностью; связь сей летописи с тем жутким спуском, который совершил я, была несомненна – я даже узнавал на картинах отдельные участки пройденного мною пути.

Продвигаясь по коридору к свету, становившемуся всё ярче, я созерцал поздние главы этого расписанного эпоса: прощание расы, обитавшей в Безымянном городе и долине вокруг него на протяжении десяти миллионов лет, – расы, чьи души содрогались от одной мысли покинуть места, столь долго знакомые их телам; места, куда они пришли кочевниками ещё в пору юности земли, высекая в девственном камне те первобытные святилища, в которых никогда не переставали поклоняться. Теперь, когда освещение стало более ясным, я изучал картины с особым прилежанием и, не забывая о том, что странные рептилии должны лишь символизировать безвестных людей, размышлял об обычаях Безымянного города. Многие в них было необычайным и не поддающимся объяснению. Цивилизация эта, обладавшая развитым алфавитом, казалось, поднялась на уровень несравненно более высокий, нежели неизмеримо более поздние культуры Египта и Халдеи, – и всё же в её облике зияли странные пробелы. Я, к примеру, не обнаружил ни единого изображения смерти или похоронных обрядов – за исключением тех сцен, что повествовали о войнах, насилии и море; и я безмерно удивлялся подобной сдержанности в отношении естественной кончины. Казалось, идеал земного бессмертия взращивался здесь как единственная ободряющая иллюзия.

Ближе к завершению прохода были запечатлены сцены крайней живописности и неистой экстравагантности: противопоставленные виды Безымянного города в его запустении и нарастающем разрушении – и странного нового царства, или рая, к которому раса прорубила себе путь сквозь толщу камня. В этих видах город и пустынная долина неизменно представляли при луне: над рухнувшими стенами застыл золотой нимб, наполовину приоткрывая великолепие прежних времён, показанное художником призрачно и ускользающе. Райские сцены были почти слишком невероятны: они изображали сокрытый мир вечного дня, исполненный славных городов и эфирных холмов и долин. Под самый конец мне почудились признаки художественного спада: росписи стали менее искусными и гораздо более причудливыми, чем даже самые дикие из ранних полотен. Они словно фиксировали медленное вырождение древнего племени, сопряжённое с возрастающей ненавистью к внешнему миру, из которого их вытеснила пустыня. Формы народа – всё так же представленные в облике священных рептилий – казались постепенно иссыхающими, зато дух их, показанный парящим над руинами в лунном свете, рос соразмерно сему увяданию. Истошённые жрецы, изображённые в виде рептилий в пышных одеждах, проклинали верхний воздух и всех, кто им дышит; а одна страшная финальная сцена являла первобытного на вид человека – возможно, первопроходца древнего Ирема, Города Столпов, – растерзанного членами старшей расы. Я вспомнил, как арабы боятся Безымянного города, и преисполнился мрачной радости оттого, что далее серые стены и потолок пребывали нагими.

Пока я созерцал сию процессию настенной истории, я подполз совсем близко к завершению низкого зала и заметил массивные ворота, откуда и проистекало всё это фосфоресцирующее сияние. Подползая к ним, я вскрикнул от высшего изумления при виде того, что простерлось за ними: ибо вместо иных, более ярких залов там зияла лишь беспредельная пустота ровного света – такая, какую можно вообразить, взирая с вершины Эвереста на море солнечного тумана. Позади меня остался проход столь тесный, что я не мог выпрямиться; впереди же ждала бесконечность подземного сияния. От порога прохода в бездну нисходила голова крутой лестницы – мелкие частые ступени, подобные тем, что встречались в чёрных ходах моего спуска; но уже через несколько футов светящиеся испарения скрывали всё из виду. Распахнутая и прижатая к левой стене прохода, висела массивная бронзовая дверь невероятной тол-

щины, украшенная фантастическими барельефами: если бы она закрылась, она навеки отгородила бы весь этот внутренний мир света от каменных сводов и туннелей. Я воззрился на ступени – и на этот раз не посмел испытать их. Я коснулся открытой бронзовой двери – и не сумел сдвинуть её с места. Тогда я распластался на каменном полу: ум мой пылал от потока безумных мыслей, которые не могла изгнать даже мёртвенная усталость.

Лёжа неподвижно с закрытыми глазами и имея свободу помыслов, я вновь воскресил в памяти множество деталей, на которые прежде взглянул лишь вскользь, – и они вернулись ко мне, обретя новый, ужасающий смысл: сцены Безымянного города в дни его расцвета, растительность долин, далёкие земли, с которыми вели торговлю его купцы. Аллегория ползучих существ озадачивала меня своей всеобщей и навязчивой важностью; я недоумевал, почему ей столь строго следуют в изображённой истории такого огромного значения. В росписях Безымянный город предстал в пропорциях, удобных именно для рептилий. Я задумался, каковы были его истинные размеры и величие, и на миг припомнил некоторые странности, замеченные мною в руинах. Мне пришла на память низость первобытных храмов и подземного коридора – вероятно, высеченных так из почтения к почитаемым там богам, хотя это и вынуждало поклоняющихся передвигаться ползком. Возможно, сами обряды включали в себя ползание в «подражание» этим существам. Но никакая религиозная теория не могла с лёгкостью объяснить, почему горизонтальный участок в том жутком спуске был столь же низок, как храмы, – или даже ниже, раз там невозможно было встать даже на колени. Думая о ползучих тварях, чьи отвратительные мумии покоились так близко, я ощутил новый толчок страха. Ассоциации ума причудливы: я содрогнулся при мысли, что, не считая несчастного первобытного человека, растерзанного на последней картине, моя фигура – единственная человеческая среди множества реликвий и символов первозданной жизни.

Но, как и всегда в моей странной кочевой судьбе, удивление вскоре вытеснило страх: светящаяся бездна и то, что она могла скрывать, представляли собой задачу, достойную величайшего исследователя. Я не сомневался: далеко внизу, за этой лестницей из странно мелких ступеней, лежит жуткий мир тайны, и я надеялся обрести там человеческие следы, которых не дала расписанная галерея. Фрески рисовали невероятные города, холмы и долины в этой нижней области, и воображение моё жило ожиданием богатых и громадных руин. Страхи мои, впрочем, касались прошлого, а не будущего. Даже телесный ужас моего положения – в тесном коридоре мёртвых рептилий и допотопных фресок, на много миль ниже мира, который я знал, лицом к иному миру странного света и тумана, – не мог сравниться со смертоносной дрожью, которую внушала мне бездонная древность этой сцены и её дух. Древность столь безмерная, что всякое мерило перед ней бессильно, казалось, ухмылялась с первобытных камней и высеченных в скале храмов Безымянного города; а даже самые «поздние» из потрясающих карт в росписях являли океаны и материки, давно забытые человеком, лишь кое-где намечая смутно знакомый контур. Что могло произойти за геологические эпохи с тех пор, как прекратились росписи и ненавидящая смерть раса озлобленно уступила распаду, – не скажет никто. Когда-то жизнь кишела в этих пещерах и в светящемся мире за воротами; теперь же я был один среди ярких реликвий – и содрогался, помышляя о несчётных веках, в которые они несли свой немой, покинутый дозор.

Вдруг меня снова обуяла та острая, необъяснимая паника, что приступами накрывала меня с той самой минуты, как я впервые увидел страшную долину и Безымянный город под холодной луной; и, несмотря на изнеможение, я судорожно сел и уставился назад, вдоль чёрного коридора, к туннелям, ведущим во внешний мир. Ощущение было сродни тому, что заставило меня тогда отказаться от ночлега в стенах города; оно было столь же мучительным, сколь и необъяснимым. Однако уже в следующий миг меня поразил ещё больший удар: определённый звук – первый, нарушивший абсолютную тишину этих гробовых глубин. Это был глубокий, низкий стон, подобный далёкому хору осуждённых духов; он доносился с той стороны,

куда был обращён мой взор. Громкость его стремительно нарастала, вскоре страшно отдаваясь под сводами низкого прохода; и одновременно я ощутил усиливающуюся струю холодного воздуха – также текущую из туннелей и города наверху. Прикосновение этого воздуха, казалось, вернуло мне равновесие: я тотчас вспомнил внезапные порывы, поднимавшиеся у устья бездны на каждом закате и рассвете, – один из которых, собственно, и помог мне открыть сокрытые ходы. Я взглянул на часы и увидел, что рассвет близок; я приготовился выдержать шквал, который будет, как и прежде, возвращаться в своё пещерное логово на рассвете, подобно тому, как он вырывался из него вечером. Страх снова ослаб: природное явление разгоняло мрачные думы о неизвестном.

Всё безумнее вливался в эту внутреннюю пропасть земли визжащий, стонущий ночной ветер. Я снова распластался и тщетно вжимался в пол, страшась, что меня унесёт сквозь открытые ворота в фосфоресцирующую бездну. Такой ярости я не ожидал; и когда осознал, что тело моё действительно начинает скользить к бездне, меня обуяли тысячи новых ужасов – предчувствий и фантазий. Злобность порыва будила невероятные видения; я снова, содрогаясь, сравнил себя с единственным человеком в этом страшном коридоре – человеком, которого растерзала Безымянная раса: в дьявольском неистовстве вихревых струй будто жила мстительная ярость, тем сильнейшая, что во многом она была бессильна. Думаю, под конец я кричал – был почти безумен; но если я и кричал, мои вопли тонули в адском многоголосье воющих ветровых призраков. Я пытался ползти против убийственного невидимого потока, но не мог даже удержаться на месте: меня медленно и неотвратно теснило к неизвестному миру. Наконец рассудок, должно быть, окончательно оборвался, ибо я начал бормотать снова и снова необъяснимое двустипшие безумного араба Альхазреда, видевшего сон о Безымянном городе:

*«Не мёртво то, что вечно пребывает,
В черёд чужих эпох и смерть умирает».*

Лишь суровые задумчивые боги пустыни ведают, что произошло на самом деле – какие неопишуемые схватки и карабканья во тьме я пережил, или какая бездна привела меня назад к жизни, где мне суждено помнить и содрогаться при ночном ветре, пока забвение – или худшее – не предьявит свои права. Чудовищным, неестественным, колоссальным было то, что случилось: слишком далеко за пределами человеческих представлений, чтобы в это можно было поверить – разве что в проклятые, безмолвные часы перед рассветом, когда невозможно уснуть.

Я уже сказал, что ярость этого порыва была адской – демонической силы, и что в его голосах звучала отвратительная, копившаяся злоба опустошённых вечностей. И вот постепенно эти голоса, всё ещё хаотические впереди, в моей бьющейся голове словно обрели членораздельность; и там, в могиле несчётных эпох мёртвой древности, в лигах под миром людей, озаряемым рассветом, я услышал жуткую брань и рычание бесов на чужом языке. Я обернулся – и увидел то, что нельзя было бы разглядеть на фоне сумрака коридора, но можно было различить на фоне светящегося эфира бездны: кошмарную орду несущихся демонов – искажённых ненавистью, гротескно вооружённых, полупрозрачных; демонов расы, которую невозможно спутать ни с чем: ползучие рептилии Безымянного города.

И когда ветер умер, меня погрузило в черноту земных недр, населённую упырями: ибо за последним из существ огромная бронзовая дверь с грохотом захлопнулась, издав оглушительный звон музыкального металла; и этот гул, разрастаясь, ушёл к далёкому миру – приветствовать восходящее солнце, как приветствует его Мемнон на берегах Нила.

Храм

(Рукопись, найденная на побережье Юкатана)

20 августа 1917 года я, Карл Генрих, граф фон Альтберг-Эренштайн, капитан-лейтенант Императорского германского флота и командир подводной лодки U-29, опускаю эту бутылку в океан и оставляю запись в точке, координаты которой мне в точности не ведомы, но которые составляют, вероятно, около 20° северной широты и 35° западной долготы, где мой корабль ныне покоится без движения на морском дне. Я решаюсь на этот шаг, дабы представить на суд общественности некие из ряда вон выходящие факты; вероятно, я не переживу этих часов и не смогу поведать о них лично, ибо обстоятельства, в которых я оказался, столь же грозны, сколь и исключительны. Они касаются не только безнадежной поломки U-29, но и прискорбного ослабления моей железной германской воли.

Во второй половине дня 18 июня, как было сообщено по радио на подлодку U-61, следовавшую в Киль, мы торпедировали британский пароход «Victory», шедший из Нью-Йорка в Ливерпуль в точке 45°16' северной широты и 28°34' западной долготы. Мы позволили команде пересечь в шлюпки, дабы запечатлеть на пленку весьма эффектные кадры для архивов адмиралтейства. Судно погружалось на дно очень живописно: носом вперед, тогда как корма высоко задралась над водой, прежде чем корпус рухнул вниз, в пучину. Наша камера зафиксировала всё до мельчайших подробностей, и я глубоко сожалею, что столь превосходные кадры никогда не достигнут Берлина. По завершении съемки мы расстреляли шлюпки из орудий и погрузились под воду.

Когда же около заката мы вновь поднялись на поверхность, на палубе обнаружилось тело матроса; его руки странным образом вцепились в леерное ограждение. Бедняга был молод, смуглокож и весьма недурен собой; вероятно, итальянец или грек – и, вне всякого сомнения, из команды «Victory». По всей видимости, он искал спасения на том самом корабле, что был вынужден уничтожить его собственное судно – еще одна жертва той несправедливой захватнической войны, которую английские свинопсы ведут против нашего Отечества. Обыскав покойного в поисках сувениров, наши люди нашли в кармане его куртки весьма причудливую вещицу из слоновой кости: искусно вырезанную голову юноши, увенчанную лавровым венком. Мой соратник и офицер, лейтенант Кленце, счел это изделие антикварным и художественно ценным, а потому забрал его у матросов себе. Каким образом подобный предмет оказался у простого моряка, ни он, ни я вообразить не могли.

В тот миг, когда мертвеца выбрасывали за борт, случились два происшествия, глубоко взволновавшие команду. Глаза покойного изначально были сомкнуты; однако, когда тело волокли к релингу, от резкого толчка они распахнулись, и многим привиделось нечто невероятное – будто эти очи пристально и насмешливо взирают на Шмидта и Циммера, склонившихся над трупом. Боцман Мюллер – человек в летах, которому следовало бы иметь больше разума, не будь он суеверным эльзасским свином, – пребывал в таком возбуждении, что принялся следить за телом в воде. Он божился, что, едва погрузившись, мертвец принял позу пловца и стремительно ушел под волны в южном направлении. Нам с Кленце были противны подобные проявления крестьянского невежества, и мы сурово отчитали матросов, в особенности Мюллера.

На следующий день возникла весьма досадная заминка по причине недомогания нескольких членов экипажа. Очевидно, они страдали от нервного истощения, вызванного затянувшимся походом, и их преследовали дурные сны. Несколько человек казались совершенно

одуревшими и пребывали в апатии; убедившись, что они не симулируют, я освободил их от службы. Море изрядно штормило, и мы предпочли уйти на глубину, где волнение мешало меньше. Здесь было сравнительно спокойно, хотя нас ставило в тупик некое мощное южное течение, не отмеченное на наших океанографических картах. Стенания больных действовали на нервы, но, поскольку они не подрывали дух остального экипажа, мы не прибегали к крайним мерам. Наш план заключался в том, чтобы занять позицию и перехватить лайнер «Dacia», о коем сообщали наши агенты в Нью-Йорке.

Ранним вечером мы всплыли и обнаружили, что море несколько утихло. На северном горизонте виднелся дым линкора, но дистанция и наша способность к погружению гарантировали нам безопасность. Куда сильнее нас тревожила болтовня боцмана Мюллера, которая с наступлением темноты становилась всё более путаной и дикой. Он впал в постыдно-ребяческое состояние и бормотал о каком-то наваждении: будто мимо иллюминаторов проплывают мертвецы, которые пристально смотрят на него, и в коих он, невзирая на посмертные изменения, узнаёт тех, кто погиб во время совершения нами славных германских подвигов. Он также утверждал, будто тот юноша, найденный на палубе, является их предводителем. Всё это было крайне жутко и ненормально, а потому мы заковали Мюллера в кандалы и подвергли суровой порке. Команда была недовольна его наказанием, но дисциплина превыше всего. Мы также отвергли просьбу делегации матросов во главе с Циммером о том, чтобы выбросить резную голову из слоновой кости в море.

20 июня матросы Бом и Шмидт, чувствовавшие недомогание ранее, впали в буйное помешательство. Я сожалел, что среди офицеров нет медика, ибо жизни германцев драгоценны. Однако непрекращающийся бред этих двоих о некоем страшном проклятии подрывал дисциплину самым пагубным образом, а потому были приняты решительные меры. Экипаж встретил случившееся угрюмым молчанием, но это, казалось, утомонило Мюллера, который впредь не доставлял хлопот. Вечером мы освободили его, и он безропотно вернулся к своим обязанностям.

В последующую неделю мы все пребывали в крайнем напряжении, высматривая «Dacia». Эту гнетущую атмосферу усугубило исчезновение Мюллера и Циммера; вне всяких сомнений, они покончили с собой, поддавшись снедавшим их страхам, хотя самого момента их прыжка за борт никто не видел. Я был скорее рад избавлению от Мюллера, ибо даже его молчаливое присутствие дурно влияло на людей. Теперь весь экипаж словно дал обет молчания – будто скрывая некую тайную боязнь. Многие занедужили, но никто более не нарушал порядка. Лейтенант Кленце, издерганный этим ожиданием, раздражался по малейшему поводу – будь то стая дельфинов, собиравшаяся вокруг лодки во всё большем числе, или же растущая мощь того загадочного южного течения.

В конечном итоге стало ясно, что мы окончательно разминувшись с «Dacia». Подобные неудачи случаются, и мы были скорее удовлетворены, нежели расстроены, ибо теперь нам надлежало возвращаться в Вильгельмсхафен. В полдень 28 июня мы легли на курс северо-восток и, невзирая на некоторые нелепые затруднения, вызванные неимоверным количеством дельфинов, вскоре пошли полным ходом.

Взрыв в машинном отделении в два часа пополудни стал полной неожиданностью. Никаких дефектов в механизмах или небрежности со стороны персонала выявлено не было; тем не менее, без всякого предупреждения корабль сотряс колоссальный удар. Кленце, бросившийся в машинное отделение, обнаружил, что топливный бак и значительная часть механизмов разнесены в щепки, а инженеры Раабе и Шнайдер погибли на месте. Наше положение в одночасье стало критическим; ибо, хотя системы регенерации воздуха уцелели и мы могли управлять погружением и всплытием, пока хватало сжатого воздуха и заряда аккумуляторов, мы были лишены возможности двигаться или маневрировать. Искать спасения в шлюпках означало бы сдать на милость врагам, которые необоснованно ожесточены против великого германского

народа; наш же радиопередатчик, вышедший из строя еще со времен инцидента с «Victory», не позволял связаться с другими субмаринами Императорского флота.

С момента аварии и до 2 июля нас непрерывно сносило к югу; мы не имели четкого плана и не встретили ни одного судна. Дельфины всё так же кольцом окружали U-29, что выглядело весьма примечательно, учитывая пройденное нами расстояние. Утром 2 июля на горизонте показался военный корабль под флагом США, и матросы, охваченные беспокойством, изъявили желание сдаться. В конце концов Кленце был вынужден застрелить матроса по имени Траубе, который с особенным неистовством требовал совершить этот негерманский поступок. Это на время охладило пыл команды, и мы незамеченными ушли под воду.

На следующий день пополудни с юга налетела густая стая морских птиц, а океан начал зловеще вздыматься. Задраив люки, мы ждали развития событий, пока не осознали, что обязаны погрузиться, иначе нас захлестнет нарастающий вал. Давление воздуха и запас электричества стремительно таяли, и мы стремились избежать лишних трат наших скудных ресурсов, но выбора у нас не оставалось. Мы опустились на небольшую глубину, и когда спустя несколько часов шторм утих, решили вновь выйти на поверхность. Однако здесь нас постигла новая беда: лодка перестала слушаться управления, вопреки всем усилиям механиков.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.